

“он был обречен на одиночество”

Газета — 2003 — 5 апреля С. 1, 7.

100 лет
Евгению Мравинскому



Евгений Мравинский, Дмитрий Шостакович и Давид Ойстрах в 1946 году перед исполнением Восьмой симфонии и Скрипичного концерта Шостаковича

Санкт-Петербург, 1947-е годы

Евгений Мравинский и Сергей Прокофьев на Николиной горе. 1947 год

Окончание. Начало на странице 01

Теперь, когда я прочла его дневники, я так грызу, укоряю себя за то, что покидала его. Наверное, надо было плюнуть на работу, на карьеру, не заниматься ничем, а «прилепиться душой к мужу», как в Писании сказано. И не расставаться с ним ни на секунду. Теперь я понимаю, что такие люди, как Евгений Александрович, такие грандиозные личности обречены на одиночество. Или он должен был повстречать человека такого же масштаба, как он. **Кого он считал близкими друзьями?** Самым близким его другом был Николай Константинович Черкасов. Они дружили с юношеского возраста, с театра, где оба были мимистами...

Кем кем?

Статистами, мимистами. Евгений Александрович изображал Ночь, а Николай Константинович — День, Свет. Дружили они лет с шестнадцати. Оба высокие, красивые; и родились оба в 1903 году, продружили всю жизнь. Они были абсолютно похожи, как близнецы; им даже не нужно было разговаривать, они понимали друг друга с полуслова. К сожалению, Николай Константинович рано умер. И Евгений Александрович осиротел. В смысле человеческом это был, пожалуй, самый близкий его друг. Вообще он любил актеров. Дружил с Васильевым, очень любил Симонова, Акимову. Любил театр и людей театра. С Толубевым очень дружил, мы даже жили на одной площадке. Они часто общались, он к нам приходил, а Евгений Александрович к ним захаживал. Иногда и по рюмочке пропустят за хорошей беседой...

А что, Евгений Александрович уважал это дело?

Конечно. Какой же русский не любит немножечко расслабиться? Но только после работы и в свободное время. А когда наступал период, как он называл, «беременности партитуры» — что был он был уже не человек, а пружина взведенная. А вот после концерта обязательно нужно было ему раскрутить все в обратную сторону. Тогда можно было и выпить. Я этому не препятствовала. Если случалась ссора в филармонии или какие-то неприятности — ему было необходимо как-то успокоиться, заглушить их.

Какие были отношения с музыкантами? И с музыкантами у него были близкие отношения. Виталий Михайлович Буяновский, Буся Марголис — это все были его соратники, его «гвардия». Особенно часто к нам захаживали гости в период эвакуации оркестра в Новосибирск, многие тогда к нам приезжали. И в Комарово приезжали. Дом творчества — мы часто там отдыхали.

В Комарово он, как известно, тесно общался и с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Вы ведь и в столовой обычно за одним столиком сидели?

Когда отдыхали в одно время — всегда. Евгений Александрович нежно любил Дмитрия Дмитриевича. И в дневниках у него сказано: «Я так ощущаю Митю — температурно, — что мне даже кажется это сентиментальным». Он называл Дмитрия Дмитриевича «братом по дням». Первым поставил Пятую симфонию и первым получил от Дмитрия Дмитриевича признание. Оно зафиксировано в письмах Шостаковича к нему, отражено и в дневнике. Дмитрий Дмитриевич писал: «Сначала я был поражен тщательностью работы Евгения Александровича. Но потом понял, что дирижер должен очень глубоко внедриться в партитуру и понять замысел, что иначе у Евгения Александровича и быть не могло». Тогда на репетициях Евгений Александрович задавал ему много вопросов. И далее: «Я признателен Мравинскому. Лучшее исполнение Пятой и Двенадцатой — это исполнение Мравинского».

Однако Тринадцатую симфонию Шостаковича Мравинский так и не сыграл...

Да, я понимаю, что всех интересует вопрос Тринадцатой симфонии. Создавалась молва, будто у Евгения Александровича и Дмитрия Дмитриевича возникли разногласия после отказа Мравинского исполнить Тринадцатую. Ничего подобного! Евгений Александрович никогда не изменял Дмитрию Дмитриевичу и всегда любил его и жалел. Бум, искусственно сотворенный вокруг Тринадцатой, до Евгения Александровича так и не докатился. Уже по-

том, после смерти Дмитрия Дмитриевича он как-то заговорил об искусственно созданной неприятной атмосфере вокруг Тринадцатой симфонии. Почему Евгений Александрович так и не исполнил эту партитуру? Во-первых, он любил, чтобы оркестр играл главенствующую роль; а в этой партитуре стихи Евтушенко и вокальные партии были на первом плане. Роль же оркестра — скорее сопроводительная, дополнительная. Кроме того, как раз в это время — Дмитрий Дмитриевич даже не был извещен об этом — у Евгения Александровича умерла жена, Ина Михайловна. Умирала тяжело: болезнь была неизлечимая. В простонародье это называется «рак костей и крови». А по медицине — миелома мультиплекс: болезнь, от которой умер Иван Грозный. Боль ужасная, напоминает колесование. Страшная мука!

Евгений Александрович больше не возвращался к Тринадцатой симфонии. Иногда, правда, говорил: «Может, мне все-таки прекратить эту шумиху и поставить Тринадцатую?» Иногда даже открывал партитуру. Но с этой музыкой у Евгения Александровича уже были связаны тяжелые ассоциации с тем временем, когда умерла жена. Он имел право ставить или не ставить Тринадцатую, но это не меняло его отношения к Дмитрию Дмитриевичу. Евгений Александрович никогда, ни одного сезона не обходился без музыки Шостаковича. И даже когда вышли за границу мемуары Соломона Волкова и здесь опять началось нашествие на Шостаковича — его запретили играть, запретили издавать, — и тогда Мравинский демонстративно, весь сезон, каждый месяц ставил Шостаковича. Все его произведения, кроме «Песни о лесе» и музыки к фильмам. Пятая, Шестая, Восьмая, Десятая, Скрипичный концерт, Двенадцатая, Пятнадцатая симфонии — все это было исполнено.

Какие отношения связывали его с Ойстрахом?

Очень нежные. Давид Федорович тоже был одержимый искусством исполнительства человек. Не будем забывать, что и Евгений Александрович, и Давид Федорович всего лишь исполнители. Их функция — услышать автора, проникнуться его замыслом и донести его до слушателей. Оба они понимали свою миссию. И ни у одного из них — а Давид Федорович был очень скромный человек, как и Евгений Александрович, — никогда у них в выступлениях не было никакого самопоказа. Если взяли фильмы, где Давид Федорович играет, вы увидите, что он даже и на публику-то не смотрит, так он упоен своей скрипкой, упоен музыкой. Он при помощи инструмента раскрывал душу авторскую. А Евгений Александрович делал это при помощи партитуры и своего инструмента — оркестра. Он нес слушателям врачевание, так бы я сказала. Потому что музыка врачует души.

Они с Давидом Федоровичем вместе гастролировали в Вене, как жилось?

И в Вене, и по Европе. И в Чехословакии. Вот была триумфальная поездка. Там в свое время какой-то дирижер, желая поставить Восьмую в Праге, провалил ее. Дмитрий Дмитриевич был просто ушиблен этим. Мало того, что в нашей стране он попал в опалу, так еще и за границей случился провал. И тогда Евгений Александрович сел в поезд и поехал в Прагу. Шел 1946 год. Он поставил там Восьмую, уже с другим пражским оркестром, и она прошла замечательно. Дмитрий Дмитриевич был просто счастлив: рецензии вышли потрясающие. Так Евгений Александрович по-рыцарски защитил честь Восьмой симфонии. Которая, кстати, ему же и была посвящена. В фильме Евгений Александрович рассказывает о том, как Дмитрий Дмитриевич поставил ему Восьмую симфонию, и о том, как он этому рад и как бережет партитуру с оригинальным подписью Шостаковича. Говорит, что это самый дорогой подарок, и добавляет: «Пока я жив, никогда не расстанусь с этой партитурой».

Сейчас говорят, будто Мравинский любил подолгу и помногу репетировать, даже несообразно много.

Евгений Александрович считал, что музыка должна быть оплодотворена духом. Исполнение должно быть доведено до состояния сотворчества. За две-три репетиции невозможно поставить Онеггера, или Стравинского, или Бартока... Подумайте: мы все хотим попасть к врачу, насчет которого мы спокойны, что

он отрежет нам ту ногу, которая болела, а не соседнюю. Почему же, когда публика приходит в филармонию, она должна получать суррогаты?

Когда Мравинскому говорили: «Подумаешь, что-то там не вышло, это же не катастрофа», так вот для Мравинского это была катастрофа. Поэтому, уйдя из жизни земной, он остался жив и любим публикой. И он востребован до сих пор. Те диски, которые миллионы издаются за границей, они ведь расходятся мгновенно. Потому что в них — правда, чистота, эталонность. Что меня недавно порадовало: я смотрела кусочек передачи, где показывали итоги дирижерского конкурса. И вдруг я увидела существо по имени Мартин Лебель. Оказалось, он слепду буквально влюблен в Мравинского. Но тогда я этого не знала. Когда увидела его за пультом — его лицо, его настрой, его метод, — меня это так обрадовало... Так это было похоже на манеру Евгения Александровича... Я-то думала, что ничего подобного Мравинскому мы больше не увидим, а не! Родила земля еще челoveчка, похожего на него...

Но было бы логичнее, чтобы дирижер, похожий на Мравинского, возник здесь, в Петербурге, а не за границей...

Тогда нужно, чтобы здесь дирижерское искусство не глушили. Евгений Александрович преподавал здесь, в консерватории, и у него было много учеников. У меня имеется длинный их список, там и наши, и зарубежные. А если вспомнить, что Мравинский разрешил студентам присутствовать на своих репетициях, что в Филармонии когда-то была штатная единица ассистента-стажера...

Да-да, одно время ее занимал Марис Янсонс...

Марис Янсонс, Юра Симонов, Саша Дмитриев, Эдик Чивель, Эдик Серов, Вальд Ханс, Дьюла Немет, Ежи Семков — много было учеников у Евгения Александровича. Влияние его было огромным. Поэтому-то и появились так много дирижеров, что многие стремились походить на него. Он был профессором консерватории. И не просто почетным, а самым что ни на есть действующим. Каждый месяц нам привозила его зарплату чудесная девушка-кассир. Работал Евгений Александрович на кафедре дирижирования под руководством Николая Семеновича Рабиновича. И Юра Серебряков у него учился, и Сережа Дудкин... Все его ученики успешно устроились в жизни, имеют высокие рейтинги. Например, Юра Симонов — у него теперь свой оркестр в Брюсселе. А Марис просто вырос у нас в Филармонии.

Расскажите об эпизоде с «Аполлоном Мусagetом».

Ну что там рассказывать? Поставила я ему как-то его же собственную пластинку с «Аполлоном» Стравинского. Он не знал, что ее издали. Он сидел неподвижно, слушал, и слезы текли по щекам. Я хотела его утешить, подошла, обняла его, спросила: «Отчего ты плачешь?» Он ответил: «Это прочтение партитуры так мне близко. Я сам бы так поставил «Аполлона». Но нашему оркестру так не сыграть, нет... Как я жалею, что это не я исполнил и не мой оркестр». Тогда я сказала: «Это же твой оркестр и есть». Он не поверил. Мне пришлось снять пластинку и показать ему подпись и конверт с роскошной его фотографией. Нам подарили эту пластинку в Австрии. В том же комплексе были и Литургическая симфония Онеггера, и «Гармония мира» Хиндемита.

А дело было так. Мы часто с оркестром гастролировали по стране, ездили и в Москву. Там Евгений Александрович дал подряд несколько концертов. Их записало радио. А потом по рекомендации Геннадия Николаевича Рождественского записи выпустили в виде пластинок. Потому что Рождественский считал, что исполнение настолько совершенно, что можно сделать запись прямо с концерта.

Евгению Александровичу позвонили, спросили его позволения. И он совершенно бескорыстно ответил, что дарует эти записи. А еще Евгений Александрович мечтал поставить с замечательным человеком Петром Андреевичем Гусевым балеты Стравинского, прямо в Филармонии. Снять часть рядов партера — там бы сидел оркестр. А на сцене поставить «Аполлона Мусagetа», «Агон», «Поцелуй феи», «Петрушку». План был замечательный, они по долгу обсуждали его с Гусевым по телефону, но, к сожалению, ему не суждено было осуществиться.

газета

из дневников Евгения Мравинского

5 апреля 1956 года

С половины одиннадцатого до трех пробыл у домика. Прокопал тропу к «дедушкиной роше», попилил дрова, пробрался на сарай, поспал на солнышке, грелся, ходил вокруг домика по насту. С утра еще острый, морозный — ночной воздух, но горячее солнце. Бездонная, густо-синяя высь. Спящие снега. Мир, растворенный в нежно-горячей светозарности, недвижимый, затихший... На прилке нижняя ветка березки, вмерзшая в сугроб, внезапно дрогнула, оторвалась от снега и долго покачивалась, все не могла остановиться... Я тоже расторможен в свете, тепле, синеве и шоколаде; будто нырнул в глубины, в благодать этого света, лазури неба, чистоты хрустального воздуха... После обеда сделал небольшой кружок на лыжах: к озеру, по Черкасовскому заливу — мимо Ипатьевского причала, через ивняки на шоссе. Все так же солнечно, но стал подувать северо-восточный ветерок. Дома записал день. Вечер с Машкой и Фунтиком. Маша ходила кормить поросенка, собаку; побила с ней на дворе. Опять морозит; небо заволокло. Потом пили чай со свежими булочками и запеченной ветчиной. Фунтик на коленях, мурлычет, подбегает салюце... Завелась беседа о литературе.

Машка вывела мешок триумфовских книг, выложила на стол, вспоминала прочитанное: «Тараса Бульбу» и пр. Заговорились допоздна. Словачились: «Корова, верно, спать легла», побежала доить. Стенмело. Выходили оба послушать, не идет ли Иван. Полегли спать.

21 июня 1956 года

Страшный день: концерт в Вене... встреча с совершенно особенной, прихотливой-старомодной, избалованной публикой... а играем Моцарта... на душе тяжело и заботливо. В дирижерской комнате мне предстоит встреча с Бруно Вальтером — репетирующим вплотную до меня. Недолго пришлось ждать: открылась дверь и вошел Вальтер, одетый в наглухо застегнутую черную курточку с белой полоской круглого воротничка. Те же черные, мягко светящиеся, глубокие глаза. Но восемьдесят лет сказались: сутулость, под глазами мешки, желтая, восковая, будто неживая, сухонькая рука. «Мазстро! Вам надо отдохнуть». «О, я не устал!» (Репетировал Реквием Моцарта.) Встреча наша прошла тепло, с добрым флюидом с его стороны. Вспоминал свои приезды в Ленинград. Забыл — сколько раз там был: «О, в восемьдесят лет уже трудно вспомнить, где побывал». В ответ на мои страхи перед выступлением в Вене указал в открытое окно на собор: «Вас ждет публика, такая же как этот город: лучшая, сердечнейшая во всем мире!»

Очень одобрил программу. Сказал, что любит Четвертую и Шестую симфонии Чайковского (о Шестой сказал «бессмертная»), но Пятую меньше. «В финале — влияние Листа» (?). На прощанье пожелал счастья.

5 августа 1964 года

С половины одиннадцатого до половины второго сидел, довольно хорошо занимался (Прокофьев, Шестая симфония, и «Аполлон» («Аполлон Мусaget» Стравинского. — Газета), что, как всегда, создало состояние видимости удовлетворения и поверхностного равновесия. В пять часов по реке. Опять на причал. Опять старый рыбак. Перекур. Жалобы на безрыбье. Перевоз на ту сторону. Берегом, песками, в свежем ветре, плеске волн, в лес, к нашей лесной дороге, к повороту на грибные местечки Инны. Нигде — Никого... Нигде — Ничего... Простор и воздух. Простор и воздух. Дыши не хочу! Что это за необозримая власть, что за колдовская сила, именуемая «Благом Жизни», «Радостью Бытия», которая тебя держит в плену, в страхе потери, вопреки пониманию и всяческому смыслу, и держит только тем, что дает воздух для дыхания, заставляя ширить ширину, и встречать ветру, дает синеву неба, чтоб видеть землю, чтоб чувствовать ее под ногами, чтоб осязать ладонью кору деревьев, — сила, с которой ты ничем не связан, кроме как растительной, пер-

вобитной, инертной, травяной связью? И значение которой исчерпывается одним словом — среда?

13 августа 1964 года

Вчера вечером не мог заставить себя лечь спать, пока не сформулировал и не записал событий последних суток. Было это мучительно трудно, и сидел за столом до первого часа ночи. Утро. За роялем тщательно работал над симфонией Салманова и над «Лебедем». Потом со стороны прочел и переписал вчера написанное. С пяти тридцати до восьми — большой круг лесом. Переменная облачность. Иногда яркое, косое солнце. Все эти дни по-прежнему холодно. В шерстяной куртке и кожанке идти было нежарко. Вошел в лес по правой нашей травяной дорожке. Долго слышалось обильные звуки пионерлагеря. Бором, к деревянному грибу на перекрестке просек здесь были и Инной в благодатный, тихий, прощальный вечер осени. Посидел немного... Две возможные трактовки понятия природа: природа — как благо (к чему я всегда был склонен). Развитие этой идеи допускает самоощущение природы, как единства (Пан). Природа — как среда, теперь я чаще ощущаю ее именно так. В этом случае образ, содержание природы определяется самоощущением воспринимающего...

21 июля 1975 года

Ночью не было ни страхов, ни тревоги, но спокойно и просветленно; будто чья-то длань охраняющая была простерта над домом, комнатой, Алинной постелью, над мной и кисами. На рассвете было пасмурно, но к восьми разведрило и заголубело. В девять двадцать — в церковь по Нурме, заново асфальтированной. Служба уже идет. Матушка читает Апостола. Много платочков. Жарко. Постоял немного. Дальше слушал со ступенек крыльца и сидя на скамеечке. Ветерок, солнечная синев неба (голубое детское сияние глаз старичка, обернувшегося на бой часов; детская готовность к сроку своему). Слепой глаз башошки, совершавшего каждение у икон, устремленный на меня, но не увидевший меня... Черно-седая полная женщина, знающая моя незнакомка — жива. И платые на ней все то же. Верую... в Господа нашего Иисуса Христа... рожденна... несотворенна... Прежде Всех Век... И вот — мы, возвращающиеся, каждый в свой час, в Бездонность Бытия... Домой, в лоно... То самое лono, которое было «Прежде Всех Век» и ныне пылающее в пустом храме золотым пламенем множества свечей, в то время как крестный ход обходит храм и башошка, старенький, голосом ребенка возглашает: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» и окропляет стены храма, травы и тесно толпящихся, идущих с ним... И несколько тяжелых, крупных капель святой воды упали мне на голову и лицо... Господи! Избави меня от лукавого!..

Поехал морем до заставы. На море такая чистота, свежесть животворная, что, выйдя к нему и вдохнув льдистое его дыхание, невольно поднялся на цыпочки: казалось, вот-вот поднимусь от земли и полечу!

август 1975 года

Прилет на диван. Нарастание непонятного недомогания. И в сердце, и в дыхании... Погружение в покой, покаянический небитие... Недоликая изолированность от сидящих рядом Али и Копеля, их беспомощность... нарастающее конца при полном отсутствии протеста... Скорее, наоборот — утонание в нем. Постепенно, но очень медленно — улучшение. Лежу один: ясность нелпелости и недоказуемости деяния в искусстве. Ощупно все, как крошечка... Боже мой, как смешно все это... как смешна моя «интерпретация» той же Пятой Чайковского; а какие нелпелости обнаружил я сегодня утром в «своей» Восьмой Шостаковича! А ведь даже сам Шостакович не заметил их... (а может, сделал вид?) Окончательно пришел в себя, наверное, в десятую часу...

29 мая 1977 года

В церкви. Все родное, родимое, приветное... Благодаря... осеменяющая, приемлющая. Радость горячая. Сегодня особенно поразило звучание молитвы. Какая сила в интонировании молитвы Господней! Кто нашел и создал нерушимую мощь музыки, подобную заклинанию, заклинанию перед лицом Страстных тайн?